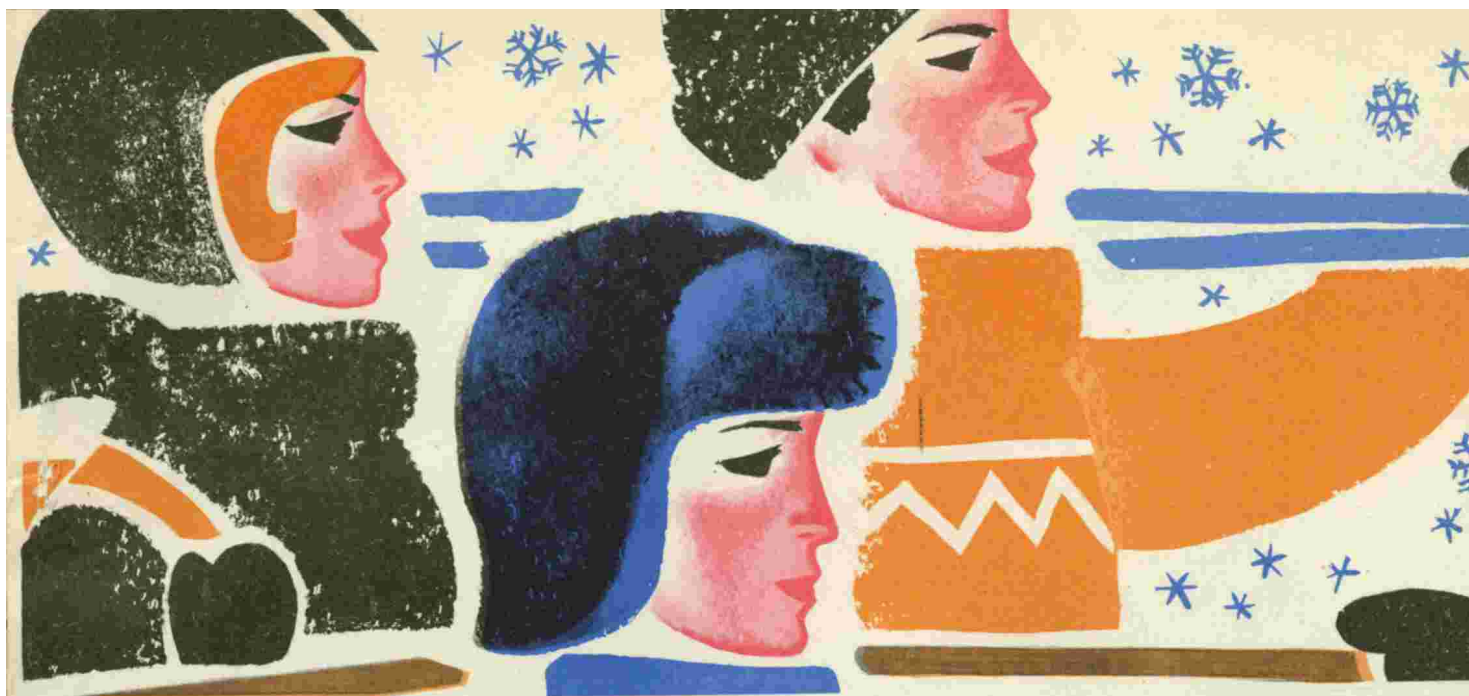




ЮНОСТЬ



1

1967

ПУТЕШЕСТВИЕ К КАТАЕВУ

Утром за мной заезжает мой долговязый друг, и мы отправляемся в гости к Катаеву. Мы едем по Ленинградскому проспекту, мимо двадцатизнажной этажерки Гидропроекта, дальше мимо парка, в котором притаился загадочный ресторан «Загородный», мимо Тушинского аэродрома, под бледным утренним небом, по которому едет, именно едет, кургузый учебный самолетик, сворачиваем на Кольцевую, проворачиваемся вокруг мотеля — мимолетные лукавые улыбки, — выезжаем на Минское шоссе, минуем всенародно известный поселок, левый вираж — ох, долговязый, как ты лих! — и катим в Переделкино.

По «Аллею Мрачных Классиков» шествует Валентин Петрович. Впереди клубочком белой шерсти катится собачка Степан, позади тащится старый переделкинский хулиган — внутренне благородный пес Миша. Аллея возмущена, но молчит.

Катаев приветствует нас и кричит через забор:

— Эстер, приехали мовисты!

Цитирую:

«...я являюсь основателем новейшей литературной школы мовистов, от французского слова mauvais — плохой, — суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена».

Мы проходим через двор, где подрастающий мовист Павел Катаев пинг-понгом выгоняет из себя лишнюю прыть, поднимаемся в крепкий зеленый дом по маленькой лестнице, которая порой кажется нам немислимо широкой и бесконечно длинной, как знаменитая лестница в Одессе.

Мы сидим в удобных креслах, в окружении белых стен, а за окнами, за желтой листвой в голубых прорехах проплывают серебристые ладьи с Внуковского аэродрома, а где-то в небольшом отдалении просвистывает электричка, проносясь мимо Трех Сосен, мимо Святого колодца, мимо всей этой малой земли, окруженной индустриально-аграрным пейзажем.

Катаев гуляет по Переделкину со странными фонариками в глазах. И во время дружеской беседы, и

во время чаепития, а может быть, и во сне под закрытыми веками в глазах его светятся эти фонарики. Это фонарики сочинительства. Мне кажется, что Катаев сочиняет всегда. Этот процесс заполняет всю его жизнь, и вызван он не многолетним литературным навыком, а самой сутью этого большого писателя. Может быть, он вообще никогда не спит?

Не спи, не спи, художник,
не предавайся сну...

Валентин Петрович Катаев рожден на этой земле для того, чтобы быть писателем. Это как раз тот самый редкий случай осуществившегося предназначения.

Написав эти строки, я вспомнил стихи Станислава Куняева:

С утра болела голова,
Но хуже то, что надоела
Старинная игра в слова,
А я не знал иного дела.

Боже мой, сколько уж раз и меня посещало это гадкое чувство! Бьюсь об заклад, что оно неведомо Катаеву. Впрочем, тут Валентин Петрович может легко поймать меня за руку.

Веселое хищное око — вот исключительный дар этого человека, свойственный только самым тонким художникам России. Память сердца, память глаз, носа, кончиков пальцев — это свойства человека, предельно равнодушного к жизни, то есть истинного писателя.

Я прочел «Белеет парус одинокий», когда был в возрасте Пети Бачея или немного старше. Чувство, которое я испытывал при чтении этой книги, сейчас я могу назвать очарованием — тогда я не знал этого слова. Помните, как Петя купается в море, как он ныряет, как Павлик наслаждается дыней, как Гаврик пьет воду «Фиалка», как на горизонте проходит тень мятежного броненосца, помните те дни, вечера и ночи в Одессе? Очарование жизни, которой ты никогда не жил... Вот именно эта задержка быстро летящих мгновений, возврат давно и навсегда прошедшего характерны для таких тончайших русских художников, как Алексей Толстой, Бунин, Бабель.

Это волшебство... волшебство... Когда я начинал пробовать свои силы в прозе, я наивно предполагал, что это волшебство создается лишь бесконечными «как», «как будто», «подобно». Я натужно сравнивал один предмет с другим. Это было ужасно утомительно и бесцельно, но все-таки однажды в одном малоизвестном, неуклюжем рассказе я написал счастливую (конечно, только для себя) фразу: «Темные воды канала были похожи на запыленную крышку рояля». Фраза эта попала на глаза Катаеву, и с этого времени я стал автором «Юности».

Сейчас я вряд ли осмелюсь написать что-нибудь подобное, и уж никогда мне не придет в голову сравнить «боинг-707», летящий над Атлантикой, с мухой над закипающим молоком.

Катаев сравнивает вдохновенно, алчно, хищно, но отнюдь не только этим создается очарование его прозы.

В «Святом колодце» автор обрушивает на вашу бедную голову каскады, водопады, цунами предметов — предметов, уже потерявших свое бытовое значение, а как бы светящихся изнутри, происходит землетрясение, разверзаются хляби небесные, вещественный мир проходит сквозь художника, художник проходит сквозь мир, сквозь «перегородок тонкоробость», сквозь гранит и лед, и вот мир предстает перед вами ужасный, странный и прекрасный. Но опять же не только этим буйством мастерства соз-

дается очарование. Чем же? Этого не объяснит самый ученый литературовед. Тайна сия...

Кто из нынешних молодых писателей может не позавидовать юности Катаева, той атмосфере, в которой возникала знаменитая «одесская школа»? Однажды Валентин Петрович рассказал нам один эпизод, имевший место в Одессе в то время, когда он юным прапорщиком-артиллеристом вернулся с фронта. Он принимал ванну, плескался в холодной воде (горячей не было), когда приотворилась дверь и отец сказал дрожащим от волнения голосом: «Валя, к тебе, кажется, пришел академик Бунин».

Можно представить, что случилось бы с современным писателем, например, с Юрием Казаковым, если бы к нему вот так запросто заглянул на часок академик Бунин!

Олеша, Бабель, Багрицкий, Ильф были просто товарищами Катаева. В те дни невероятного быта, разлома, смены властей, в дни, одухотворенные романтикой и страстью революции, по Одессе бродили очень сильно голодные юноши. В их головах жила романтика, состоявшая из привычной средиземноморской романтики (бриги, бригантин, фелюки, шаланды), романтики раннего русского авангарда (Маяковский — яростный зубр), новой революционной романтики (конники Котовского на мокрой брусчатке, жилистые матросы в пулеметных лентах) и одесского полублатного юмора (Мишка-япончик, Жора Подержи Мой Макинтош). Их — таких разных и разных все больше и больше с годами — объединяли, как мне кажется, две вещи: верность литературе, бессребренное ей служение и верность своей родине, в кровавых муках меняющей кожу.

Если для писателей среднего и старого поколений еще вставали вопросы «С кем вы?», «Куда вы?», то для молодых зачинателей советской литературы таких вопросов не было. Они были плоть от плоти этой русской бури. Может быть, многие из них и не состоялись бы как писатели, но будь революции.

Сейчас, когда мы часто встречаемся с Катаевым, когда я, несмотря на естественное почтение, уважение и тэпэ, несмотря на всю дистанцию, существующую между нами, все-таки отношусь к Валентину Петровичу как к товарищу (ибо мы не старше и не моложе друг друга), меня охватывает странное чувство смещения времен, когда Валентин Петрович говорит о своих прежних друзьях.

Вот мы сидим в старом московском ресторане — Валентин Петрович, наш долговязый друг и я. Нам подадут шампанское, булку, огурец, и Валентин Петрович (он любит эти вещи) говорит:

— За этим столиком Ильф сказал мне: Саббакин, вас все здесь уже знают...

Может быть, Ильф только что вышел отсюда и сейчас поднимается вверх по Театральному проезду к Старой площади?

Я пишу сейчас эти строки в гостинице «Штефани» в Вене. За окном дождь, мокрый снег, респектабельные, невзирая на погоду, фигуры венцев и вывеска: *Wienfischamendermefallwarendfabrikjosef — suschnyund-söhne*

...рычит мой транзистор, передавая несусветную чушь — «дас ист гольдене проگرامм»!..

Я вспоминаю, как года два или три назад я возвращался откуда-то из недр Центральной Европы, поезд приближался к Москве, и вдруг на Переделькинском откосе я увидел высокую, сутулую фигуру Катаева; впереди катился шариком Степка, позади тащился старый циник Миша, поодаль в тумане маячила фигура старика, тащившего кошелку с пустыми бутылками...

Потом я вспоминаю рассказы Катаева о Бунине, Мандельштаме, Маяковском, Есенине, вспоминаю о Трех Соснах и Святом колодце и немного пьюсь от национальной гордости, сижу в недрах Центральной Европы и, напыжившись, бубню:

— Новаторы до Вержболово, что ново здесь, то там не ново...

Катаев написал много книг, все они отмечены его высоким талантом (в разной степени) и мастерством (одинаково), но последняя книга, «Святой колодец», представляет, по моему мнению, явление исключительное. Мне кажется, что именно такую книгу Катаев хотел написать всегда: и в Одессе она, эта книга, маленьким сверкающим облачком бродила перед ним на горизонте, и в хохоте и папиросном угаре «Гудка» вдруг в запотевшем окне мелькала, как странный случайный прохожий, и в устоявшийся быт маститого и всеми уважаемого писателя врывается иногда, как телефонный звонок, как телеграмма, как вызов в дальнюю тревожную командировку...

Многих эта книга шокировала, уязвила, многиежимают плечами: а где же здесь, простите, композиция, куда девалась композиция у такого мастера композиций?..

Я не собираюсь здесь вступать в спор с критиками «Святого колодца», но все же хочу возразить одному очень уважаемому мной писателю, который, признав высокие художественные качества этой книги, обнаружил в ней «отсутствие боли». С блестящим и холодным интеллектуализмом обследовав книгу, он диагностировал в ней «отсутствие боли». Он даже вывел в своей статье формулу идеально здорового литературного произведения: «высокое художественное мастерство + присутствие боли». Личность героя, а таким образом, и личность автора ускользнула от него, и он не почувствовал боли, заглушенной эфирно-кислородной смесью. Дело тут в том, кажется, что он исследовал (обследовал) книгу в здравом уме и твердой памяти и — вот уж действительно! — «при наличии отсутствия боли».

Кроме книг, Катаев создал еще одно произведение, несколько странное, несколько прекрасное, несколько наивное, — это журнал «Юность». Мы, которых сделала «Юность» и которые делали ее, будем всегда вспоминать начало начал, ажиотаж в узких коридорах, наши первые юбилеи, катаевские «хохмы», несущиеся из кабинета, те комнаты в старых графских конюшнях, где зарождалась наша дружба.

Должно быть, нужно ругать «Юность», снисходительно усмехаться при виде странного костюма и неровной походки, но важно то, что она идет своей дорогой, с катаевскими фонариками в глазах.

Итак, мы сидим в удобных креслах, в окружении белых стен, за окнами уже темно, и внучковские ладьи плывут под тоновыми огнями, и Валентин Петрович, хитро улыбаясь, ставит на стол огромную, почти надреальную бутылку кальвадоса.

— Это совсем не тот кальвадос, что пьют у Ремарка, — говорит он. — Тот кальвадос — отвратительная самогонка...

— А вы пили тот кальвадос, Валентин Петрович?

— Ну, что вы спрашиваете, старик? Как вам не стыдно? Еще один такой вопрос, и я лишу вас своего общества. Итак, этот кальвадос совсем другой, чудесный и невероятный...

Порой я вижу, как мы поднимаемся по вполне приличной, чистой каменной лестнице, идем все вместе: наш долговязый друг, и я, и все наши друзья, и Валентин Петрович с бутылкой «этого кальвадоса» в авоське...



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.
Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.